

Ольга Червинская

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича
Черновцы, Украина

Украинская литературная теория XX века в контексте идеи кризиса и смерти поэтики

Украинское литературоведение советского и наступившего за ним времени выглядит как органическая и вполне последовательная цепь отдельных стадий. Даже не смотря на то, что в новейшее время оно практически никогда не было слаженным и даже в лагере противников теории социалистического реализма опиралось на весьма различные методологические принципы (вспомним работы С. Ефремова, М. Зерова, Д. Чижевского и др.). Общим знаменателем выступает убеждение в том, что украинская литература является самостоятельным феноменом, поскольку „поступательный рост ее происходит по исключительно своей образной системе, в основе которой лежит присущий только ей эстетический генетический знак”¹. Тем не менее, идеи украинской теории вырисовываются не только на основе выделения специфической программы, своей научной предыстории, они органично питаются и зарубежным опытом.

Современная мировая научная практика, благодаря привлечению к ее штудированию фантастических технических возможностей, буквально санкционирует оживление обмена продуктивными мыслями между своей аналитической традицией и контекстом различных дискурсивных течений за ее пределами. Становится ясно: то, что еще вчера определялось как назревший методологический плюрализм, сегодня оказывается закономерным следствием информационной несогласованности научных позиций. Симптоматично звучит остро поставленный вопрос Д. Корвин-Пиотровской, акцентирующий „посмертную жизнь поэтики”². Однако такое красочное определение, скорее всего, относится к разряду эпитетом.

¹ М. К. Наенко, *Історія українського літературознавства*, Київ 2003, с. 7.

² D. Korwin-Piotrowska, *Życie pośmiertne poetyki*, в настоящем издании.

Только попытки постичь настоящие контуры той ситуации, в которую попадает современный ученый, настроенный на движение, являются предпосылкой успешности этого движения. Онтологическое значение „первого шага” раскрывается на последнем этапе этого движения, следовательно, для правильных, а не гипотетических выводов определяющей выступает именно заключительная стадия дискурса. Для реализации этой идеальной модели научной работы необходимы предпосылки и прежде всего осознание ученым специфики определенного контекстуального фона, в рамках которого ему приходится испытывать собственный разум. Однако для нас сложность современного положения заключается в том, что реальный контекст сегодня аргументируется пестрым „посткоммунизмом” как источником новых идей, осуществляясь в условиях уже „постатеистической ситуации”³. Это принципиально новый вектор для Украины.

Сейчас в Украине достаточно мощно, хотя и не совсем согласованно, работает немало самостоятельных научных литературоведческих веток. Новейшая стратегия нашей академической науки в целом логично ориентирована на исследование украинской литературы в ее контекстуальных связях с мировой культурой XIX–XXI вв. (в аспекте поисков идентичности и культурного диалога, ревизии теории мифа в аспекте демифологизации прошлого опыта и пр.). Внимание уделяется также анализу взаимодействий идеологии с эстетикой, высокой и популярной культур, осмыслению культурно-эстетических феноменов модернизма, постмодернизма, соцреализма. В состоянии научного обобщения находится методология литературной критики, литературной рецепции и дискурсивной практики (интерпретационные методы постколониальной критики, гендерного анализа, постмодернистской критики). Назрело обновление компаративистской тематики (выделяется имагология как отрасль сравнительного литературоведения, поиски общего между различными видами искусства). Вне этого очертания активная модернизация научной тематики в отдельных научных центрах также возникает достаточно отчетливо.

Научные течения страны сегодня пытаются реально вписаться в актуальные параметры и тематический реестр, которого придерживается европейская научная филологическая мысль. Закономерно, что теоретики НАН Украины сейчас разрабатывают плановую тему „Литературная рецепция как теоретическая проблема”. В обосновании ее как актуальной составляющей теоретико-литературного знания объявлено совмещение антропологических, эстетических и социологических подходов.

³ К. Б. Сигов, *Архипелаг Аверинцева (к осмыслению эпохи постатеизма)* [в:] С. С. Аверинцев. *София-Логос. Словарь. Собрание сочинений*, под ред. Н. П. Аверинцевой и К. Б. Сигова, Киев 2006, с. 862.

Начиная, конечно, с Киева, теоретическая мысль которого стимулируется вопросами классической поэтики, в частности, например, стиховедения, а также проблемами культуры постколониальной эпохи и постмодернизма, относительно других своих ячеек условные контуры украинского литературоведения сейчас можно обозначить следующими направлениями: целостный анализ произведения (Донецк, Луганск, Ровно), рецепция мирового литературного наследия (Днепропетровск, Запорожье, Николаев, Крым), культурологические аспекты литературного процесса и жанрологический дискурс (Одесса), теория литературной транзитивности, интертекстуальности и коммуникативно-рецептивная теория (Черновцы), герменевтика, жанрология и имагологический дискурс (Львов, Тернополь, Ровно), жанровая специфика художественного времени и пространства (Львов, Тернополь, Дрогобыч, Ивано-Франковск), мифопоэтика (Донецк, Ивано-Франковск). И со всех сторон звучат также призывы к более решительному обновлению методологических основ. Таким образом, складывается ситуация вполне в духе знаменитого методолого-концептуального плюрализма, или „критического плюрализма” (И. Физер), который сегодня чаще всего артикулируется как „комплексный методологический подход”.

Видимо, украинское литературоведение уже действительно созрело для положительного самосознания и избрания собственного научного курса, однако существует одна общая проблема: отсутствие координационных связей между ведущими ветвями современной украинской литературной науки, даже отсутствие определенной, признанной на данный момент, отечественной модели приоритетов, наличие многочисленных научных „диалектов”.

Кроме того, остается в силе давний вывод И. А. Есаулова о том, что история литературы „в своих главных аксиологических координатах никак не совпадает с аксиологией объекта своего исследования”⁴, и он, к сожалению, имеет полное право быть перенесенным на современную литературоведческую ситуацию.

Несомненно, вопрос о так называемых национальных науках всегда будет выглядеть дискуссионным, поскольку наука в своем онтологическом и феноменологическом смысле предполагает не что иное, как объективную истинность выводов, их универсальный смысл. Однако этому отнюдь не противоречит и идея автономизации науки в своих собственных параметрах – здесь срабатывает стимулирующий аргумент собственных нужд, связанный с актуальностью сложившейся культурной ситуации. Состояние нового украинского литературоведения в этом смысле стоит на своей научной почве.

⁴ И. А. Есаулов, *Литературоведческая аксиология: Опыт обоснования понятия* [в:] *Евангельский текст в русской литературе XVIII–XX веков*, Петрозаводск 1994, с. 382.

Скажем об А. Потебне (1835-1891), имеющем и по сей день неоспоримое влияние на нашу отечественную науку. Стоит напомнить его замечание: „Вообще человека характеризует не знание истины, а стремление, любовь к ней, убеждение в ее бытии”⁵. Здесь заложен важный аргумент, определяющий актуальные потребности всей современной филологии. Разница позиций нынешнего и предыдущего состояний методологии может быть представлена как осознание новых ценностных параметров научной продукции в потебнианском векторе: *истину найти невозможно, однако искать ее нужно*. В частности, хотя А. Потебня пытался определить суть слова как презентанта мысли в духе лейбницевской теории о перцепции и апперцепции, однако то, к чему он пришел в своих выводах, оказалось шире теории Лейбница. Последний толковал *воображение, восприятие, художественное произведение* сугубо в духе материалистической традиции Возрождения, следуя за Декартом. Тогда как теорию Потебни чрезвычайно трудно определить как материалистическую: это, скорее, наследие платонизма, это мысль о том, что в слове выведены „единства и общности образа”, что мысль формируется на основании „случайных и изменчивых сочетаний, составляющих образ”, что через осознание „бытия темного зерна предмета” мы приходим к действительному „знанию предмета”⁶. Итак, несмотря на понятное стремление Потебни занять соответствующую позицию в актуальном русле филологического направления XIX века, он не вписывается в рамки немецкой классической научной традиции, примкнув к иному опыту философского дискурса. А. Потебня был человеком, который стремился к целостному восприятию мироздания. Не случайно вопрос о соотношении идеального и материального, формы и содержания не был для него экзистенциально значимым. Он не выбирал одну из этих позиций как базовую для своей теории, поскольку его сознание определялось прежде всего религиозной основой духовности. Это становится очевидным из такого его замечания: „К этому первому и самому обширному определению идеального как того, что не есть действительность, присоединяется другое, по которому искусство облагораживает и украшает природу, и идеал имеет значение того, что превосходит действительность”⁷. Отсюда ученый объясняет продукт творчества через такие понятия, как „случайность” и „изменяемые обстоятельства”. Ссылаясь на В. Фон Гумбольдта, он пишет: „Художник, воссоздавая предмет в своем воображении, уничтожает всякую черту, основанную только на случайности, каждую делает зависимой только от другой, а все – только от него самого... Если ему удастся, то под конец у него выходят одни характеристические формы, одни

⁵ А. А. Потебня, *Эстетика и поэтика*, Москва 1976, с. 155.

⁶ Там же.

⁷ Указ. работа, с. 185.

образы очищенной и не искаженной изменчивыми обстоятельствами природы”⁸. А. Потебня прочерчивает границу между интеллектуальным творением и творением природы, указывая в своей работе на то, что достаточно сложная связь между ними заключается в понимании одного через другое, подчеркивая принципиальную неисчерпаемость внутреннего содержания.

Советское литературоведение не решалось засвидетельствовать идеализм позиции ученого, поскольку марксистско-ленинское миросозерцание отрицало все, кроме того, что является „материей”, что „дается нам в ощущениях”. Для философской мысли подобного направления позиция игнорирования „духа”, „духовного” была фундаментальной. „Духовность” была лишь абстрактной категорией и не допускала любого иного толкования. Это был искусственный оператор философских рефлексий марксистов, первоисточником которого, конечно, был атеизм. Кроме А. Белецкого (1884-1961), который в 1961 году осмелился решительно осудить агитационную продукцию атеизма⁹, большинством ученых этот мировоззренческий уровень признавался необходимой идеологической платформой. Поэтому, безусловно, все еще требует ревизии то, что могло быть приписано А. Потебне советскими интерпретаторами его наследия.

Например, интересно проследить, как рождается у А. Потебни новая научная парадигма – его положение о так называемой внутренней форме. Ученый выводит понимание художественной продукции за рамки словесности. В своей аргументации он соотносит, например, скульптуру и словесное искусство: „Замысел художника и грубый материал не исчерпывают художественного произведения, соответственно тому как чувственный образ и звук не исчерпывают слова. В обоих случаях и та и другая стихии существенно изменяются от присоединения к ним *третьей*, то есть *внутренней формы*”¹⁰. Далее он отмечает: „Искусство есть язык художника, и как посредством слова нельзя передать другому своей мысли, а можно только пробудить в нем его собственную, так нельзя ее сообщить и в произведении искусства; поэтому содержание этого последнего (когда оно окончено) развивается уже не в художнике, а в понимающих”¹¹. Отрывая „внутреннюю форму” текста от его создателя, А. Потебня тем самым „объективирует” этот текст и фактически оправдывает тем будущих формалистов. Но понимание потебнианской „внутренней формы” поднимает проблему и на другие уровни научного дискурса, в частности

⁸ Там же.

⁹ А. И. Белецкий, *Воскресение Христово: некоторые замечания по поводу атеистической литературы последних лет*, [в:] *Питання літературознавства*, науковий збірник, вип. 66, гол. ред. А. Р. Волков, Чернівці 2002, с. 93–105.

¹⁰ А. А. Потебня, *Эстетика и поэтика...*, с. 181. Курсив мой.

¹¹ Там же.

к теории рецепции. „Слушающий может гораздо лучше говорящего понимать, что скрыто за словом, и читатель может лучше самого поэта постигать идею его произведения. Сущность, сила такого произведения не в том, что разумел под ним автор, а в том, как оно действует на читателя или зрителя, следовательно, в *неисчерпаемом* возможном его содержании”¹².

А. Потебня подчеркивал чрезвычайно важное положение: „Это содержание, проецируемое нами, то есть влагаемое в самое произведение, действительно условлено его внутреннею формою, но могло вовсе не входить в расчеты художника, который творит, удовлетворяя временным, нередко весьма узким потребностям своей личной жизни. Заслуга художника не в том *minimum*’е содержания, какое думалось ему при создании, а в известной гибкости образа, в силе внутренней формы возбуждать разнообразное содержание”¹³. Расширяя это положение, ученый находит онтологический ответ на вопрос, а именно – чем может быть объяснена продолжительность функционирования произведения в перспективе исторического развития: „Рассказы живут по целым столетиям не ради своего буквального смысла, а ради того, который в них может быть вложен”¹⁴. Вечность искусства А. Потебня мыслит как „мнимую вечность искусства”, поскольку „с увеличением затруднений при понимании, с забвением внутренней формы произведения искусства теряют свою цену”¹⁵. В конце концов трудно не согласиться с убеждением А. Потебни, что и слово, и поэтическое произведение „кончат тем, что перестает быть собою”¹⁶. Это парадоксальным образом провоцируется продолжительностью именно „бытия”, а не „небытия” этого слова или произведения в культурной истории. „Самое появление внутренней формы, самая апперцепция в слове сгущает чувственный образ, – подчеркивал он, – заменяя все его стихии одним представлением, расширяя сознание, сообщая возможность движения большим мысленным массам”¹⁷. Этот вывод ученого относительно „расширения сознания” за счет внутренней формы был абсолютно новым и только условно выглядит производным от немецкой классической мысли.

Имея научную перспективу, заложенную трудами А. Потебни (еще в 1862 г. он, высказал мнение о том, что „слово одинаково принадлежит и говорящему, и слушающему”, и „содержание слова способно расти”, о „неисчерпаемости содержания”)¹⁸, а позднее А. И. Белецкого, кото-

¹² Там же. Курсив мой.

¹³ Указ. работа, с. 181–182.

¹⁴ Указ. работа, с. 182.

¹⁵ Там же.

¹⁶ Указ. работа, с. 196.

¹⁷ Указ. работа, с. 211.

¹⁸ Указ. работа, с. 180–181.

рый, как также подчеркивалось, особенно развивал потебнианскую идею о читателе¹⁹, наше литературоведение лишь в последнее время поворачивается лицом к фактически уже забытому опыту. Наблюдение И. Дзюбы о том, что „потебнианцы” „не столько разрабатывали и развивали систему ученого, сколько восхищались отдельными его идеями, порой доводя их до абсурдных крайностей”, очевидно, справедливо.

Соответствующая позиция наблюдается, в частности, в аспекте оппозиционной к герменевтике теории рецепции, утверждавшейся усилиями Х.-Р. Яусса и В. Изера. Для мирового литературоведения последней трети прошлого века это научное направление считалось одним из ведущих. Отражение его главных идей обнаруживается в концепциях и высказываниях почти всех звезд гуманитарной мысли XX в., начиная от А. Бергсона (актуализация идеи метафизики), Т. С. Элиота (определение критики как релятивной институции), представителей психоанализа и теории архетипов З. Фрейда, К.-Г. Юнга, Н. Фрая, представителей новой феноменологии (здесь следует особо подчеркнуть позицию Р. Ингардена, заявленную в его труде „О познании литературного произведения”), представителей литературной и философской герменевтики, в частности М. Хайдеггера, Г.-Г. Гадамера, а также самого яркого из ее российских комментаторов – Г. Г. Шпета. Несомненным также является авторитет М. Бахтина (работа „Высказывания как единица речевого общения”), Х. Ортеги-и-Гассета (идея дегуманизации искусства и „Размышления о Дон-Кихоте”), структуралистов и семиотиков во главе с Р. Бартом, У. Эко, Ю. Кристевой, такими представителями постструктурализма и деконструктивизма, как М. Фуко („Что такое автор?”) и Ж. Деррида („Структура, знак и игра в дискурсе гуманитарных наук”). Представители постколониальной критики, постмодернизма и гендерной философии также присоединились к этой проблеме. Следовательно, именно в таком научном контексте необходимо было бы пересмотреть плоды научного творчества А. Потебни как столпа отечественной науки.

Революционный штурм 1917 г. лишил наше литературоведение реальной возможности своевременно и адекватно реагировать на зарубежный научный опыт. Повезло некоторым из изгнанников, сумевшим сохранить свой потенциал и вне родины. В частности, опыт общения яркого представителя Пражского лингвистического кружка Д. Чижевского (1894–1977) с европейскими учеными имел положительное значение для обеих сторон. Знатоки литературной историографии (В. Кортгаазе, Р. Мних) подчеркивают авторитетность и влияние его советов по славянской тематике, например, на Г.-Г. Гадамера, с которым он близко

¹⁹ І. Дзюба, *Білецький і Потебня (Ідеї О. Потебні в працях О. Білецького)* [в:] *Слово і час*, № 11–12, 1994, с. 9–16.

дружил²⁰. Сам этот выдающийся представитель философской герменевтики („Истина и метод”, 1960) в своем эпистолярном воспоминании о Д. Чижевском²¹ подчеркнул широкий круг знакомств Чижевского во время его преподавания в университетах Галле и Гейдельберга („... тогда я очень часто приезжал из Лейпцига к нему”)²². Кроме самого Гадамера, к этому кругу принадлежали также М. Хайдеггер, Рихард Кронер, Федор Степун, Роман Якобсон, Гартс-Юрген Герикс (президент Международного общества Достоевского, ученик Чижевского) и др. Гадамер оставил несколько ярких портретных штрихов нашего ученого. Например: „Чижевский обладал какой-то особой притягательной силой, умел объединять вместе очень умных людей, филологов, философов, даже врачей и теологов. На таких научных собраниях он не был в центре внимания, но умел развязать людям язык”²³. Важнейший для нас фрагмент гадамеровского письма такой: „То, что он достиг в своем творчестве высокого ранга, когда речь идет о размахе его университетских знаний, это для меня несомненно. Он имел также, конечно, и оригинальные идеи. Но мне кажется, что он, хотя и был строгим учителем, но все же не слишком много опубликовал из своих оригинальных исследований. <...> Он мне позже всегда давал свои ученые заметки по истории литературы. <...> Его действительно невозможно было имитировать, он был совершенно неповторимым в своем роде. <...> *В личных отношениях мы были очень близки, а в вопросах профессиональных интересов мы очень расходились*”²⁴. Заключительное замечание Г.-Г. Гадамера в определенной степени убеждает, что литературоведческую практику Чижевского справедливо будет отнести к образцу не герменевтического, а именно рецептивного метода.

К сожалению, большинство ученых советской эпохи, современников Чижевского, физически существуя в очень мощном зарубежном научном контексте, фактически было лишено его знания и влияния, вынуждено было сидеть, образно говоря, в платоновской „пещере”, воспринимая новые научные идеи в искаженном идеологическими потребностями виде. Ведь их современниками были Р. Ингарден, Ж.-П. Сартр, М. Хайдеггер, Г.-Г. Гадамер, Х. Ортега-и-Гассет, А. Ж. Греймас, Р. Барт, В. Изер, У. Эко, М. Фуко, Ж. Деррида, К. Леви-Стросс, Г. Р. Яусс и еще целый длинный ряд значимых фигур. Однако зарубежное литературоведение в советское время унифицировалось как „буржуазное” и враждебное.

²⁰ См. комментарий Р. Мниха к письму Г.-Г. Гадамера Вернеру Кортгаазе по поводу Д. Чижевского: В. Кортгаазе, *Від Меланхтона до Коменського та Чижевського*, вид. друге, доп., за ред. Р. Мниха, Є. Пшеничного, Дрогобич 2005, с. 292–293.

²¹ Письмо В. Кортгаазе от 20 апреля 1995.

²² В. Кортгаазе, *Від Меланхтона до Коменського та Чижевського...*, с. 294.

²³ Там же.

²⁴ Указ. работа, с. 296. Курсив мой.

Впрочем, были ученые, деятельность которых даже в советское время имела большое значение. Таким был А. Белецкий (1884-1961), которому удалось под лозунгами классовой целесообразности артикулировать в филологической среде ряд интересных идей западной науки. Классическим стало его предисловие „Прометей Эхила и его потомки в мировой литературе” к первому украинскому переводу с греческого пьесы Эхила „Прометей прикованный”²⁵. Именно здесь, приводя многочисленные образцы мировых интерпретаций мифологического персонажа, ученый в компаративистском ключе („индивидуальные оттенки”) впервые трактует версии этого всемирно значимого образа героического бунтаря, закладывая тем самым будущую „теорию традиционных литературных сюжетов и образов” (сегодня именуемую теорией транзитивности). Более того, именно в те времена, когда сталинщина истребляла инакомыслящих, он решился комментировать трагический образ „врага народа” античной эпохи – Фемистокла, выдвигая гипотезу, что именно он был прототипом эхилевского Прометея. Повествуя о Фемистокле, Белецкий таким образом рассказывал о трагических событиях своего времени, его текст был обращен к тем, кто понимал („Читателю ясно, почему мы задержались на фигуре Фемистокла, поскольку мы знаем ее из сообщений Геродота, Фукидида, Плутарха”²⁶). Расширенный комментарий ученого относительно Фемистокла / Прометея был, бесспорно, чрезвычайно смелой аллюзией (возможно, на гонимого тогда маршала Жукова, возможно, еще и на кого-то другого, тогда как „орел” мог ассоциироваться тогда только со Сталиным). Невозможно не восхититься смелым намеком ученого: „... и можно себе представить, какую трагедию должен был переживать этот герой греко-персидской войны, основатель морского и вместе с тем экономического могущества Афин, бывший патриот, ставший врагом своего народа, и какой, выражаясь поэтическим слогом, „орел” должен был неустанно кромсать ему сердце. Ходили слухи, что он кончил жизнь самоубийством”²⁷.

Ученые советской поры были людьми своего времени, не такое уж и давнее историческое „прошлое” они воспринимали как „безнадежно прошлое”, находясь под влиянием идеологических тенденций целостной советской культуры. Поэтому в целом труды филологов этой эпохи, к сожалению, сегодня в большинстве своем выглядят более архаичными, чем наследие их дореволюционных предшественников, а, тем более, зарубежных современников. Однако человек, настроенный на реалистичное восприятие мира, который пытался честно

²⁵ О. І. Білецький, „Прометей” Есхіла і його потомки в світовій літературі [в:] Есхіл. Прометей закутий, Київ 1949, с. 5–95.

²⁶ Указ. работа, с. 52.

²⁷ Там же.

смотреть на вещи, избегая по возможности конъюнктуры, и тогда оказывался выше своей „несчастной” эпохи, находил что-то существенно онтологическое в мгновенном и бесспорное в меняющемся, и в науке у него всегда хватало наследников, о чем свидетельствуют работы В. Шкловского, Б. Эйхенбаума, А. Лосева, М. Бахтина, Ю. Лотмана, С. Аверинцева, Г. Гачева или А. Белецкого, А. Чичерина, Д. Затонского. Однако, в конце концов, объективно архаизируется и любая выдающаяся научная продукция вообще (начиная от революционной в свое время теории Ч. Дарвина до еще не так давно модного З Фрейда), сохраняя свой опыт уже в виде рудиментов „нового, как хорошо забытого старого”.

Следует подчеркнуть, что агрессивность коммунистической критики по отношению к различным течениям буржуазной науки была закономерной и типичной для соответствующих времен, однако стоит акцентировать, что, например, в известном словаре В. М. Лесина и А. С. Пулинца²⁸, вполне последовательно взвешенном в отношении ведущей методологии, в свое время нашли место и статьи по поводу, скажем, фрейдизма и формализма, здесь обнаруживается намек на герменевтику (статья „филологический метод”, со ссылкой на акад. В. Перетца), находим статью о читателе – и это за шесть лет до так называемого Констанцкого научного „взрыва” рецептивной теории. В этой словарной статье подчеркивалось ключевое и на данный момент аксиоматическое положение: „литературоведение не может обойти вопрос о взаимоотношениях между писателем и его аудиторией”. На этом тезисе сегодня основывается упомянутое выше научное направление, ферментирующее также разветвленную теорию коммуникации, чрезвычайно актуальную для современной филологии. Приведенный пример является лишь одним из других возможных, указующим на имманентный потенциал реальной науки в любых условиях ее бытования. Хотя действие этого потенциала временно может сузиться до параметров отдельной, четко очерченной установки, придавая интеллектуальным токам определенной эпохи соответственно и определенные контуры, однако отнести это к проявлению научной регрессии объективно будет ложным.

В доказательство этого тезиса служит также один исключительно важный факт из эмигрантской биографии Д. Чижевского – его письмо (апрель 1946) Томасу Манну по поводу его известного „Открытого письма Германии”, напечатанного многими немецкими газетами в октябре 1945 г. Значимость реакции выдающегося слависта подчеркивает В. Кортгаазе: „...ни один другой документ не представляет так ясно политическую программу Дмитрия Чижевского”. Возмущенный презрением, с которым Томас Манн охарактеризовал деятельность

²⁸ В. М. Лесин, О. С. Пулинець, *Короткий словник літературознавчих термінів*, Київ 1961.

всех, кто оставался в нацистской стране, безоговорочно предлагая выбросить их произведения на помойку, Д. Чижевский в своем пространном письме, „говорил от имени „простых людей”, исконных жертв диктатуры, брошенных в тоталитарных государствах правящей верхушкой на произвол, от имени тех, у кого не было возможности спастись бегством”²⁹. „Вы уверены, что все мы, немцы и люди других национальностей, жившие в Германии, в течение этих двенадцати лет если не полностью пропитались национал-социализмом, то, по крайней мере, в какой-то степени им заражены, разложены изнутри и отмечены гитлеровским клеймом. Я верю и надеюсь, что Вы глубоко ошибаетесь. Я знаю многих знаменитых, незнаменитых и совсем малых работников культуры, ученых, писателей, музыкантов и даже учителей, которые в течение двенадцати лет не сказали и не сделали ничего такого, что бы они не сказали и не сделали, не будь Гитлера. В крайнем случае, многие что-то умалчивали, о чем-то говорили шепотом и вели себя с большей осторожностью. Теперь я не жалею, что провел эти двенадцать лет здесь, ибо многих людей я узнал и научился их ценить”³⁰. На этом принципиальном поступке нашего соотечественника-эмигранта следует учиться взвешенности критических построений и оценок относительно недавней истории, в том числе и научной.

Безусловно, ярким примером независимости от конъюнктуры, чувствительного отношения к новым культурным явлениям всегда была научная деятельность Д. Затонского (1922-2009), первооткрывателя многих интересных имен европейского гуманитарного наследия, германиста, искусного аналитика жанровой природы романа и знатока таких явлений литературного процесса, как авангардизм, модернизм и постмодернизм, о которых он много написал и обозначал как факторы устойчивой амплитуды исторического процесса. Каждая из его двенадцати монографий была итогом своеобразной авторской стратегии („образно-свободного представления о вещи”), дискурсом на базе основательно исследованной тематики, она становилась научным событием и не потеряла своей силы до сих пор. Еще в так называемых застойных 70-х годах он откровенно отрицал однообразие метода как в аспекте самой литературы, так и в плоскости науки о литературе. Более того, прибегая к стратегии эзоповой речи, т.е. анализируя „буржуазную литературу” (как у него было подчеркнуто – „буржуазная в узком смысле”, то есть, читай, литература „правлящего класса”), ученый сумел таким образом вслух высказаться о всей словесной продукции соцреалистического метода изображения действительности, диагностировать ее истинную перспективу: „...это псевдореалистическое, убого-традиционалистское, охранительное, искусственно оптимизи-

²⁹ В. Кортгаазе, *Від Меланхтона до Коменського та Чижевського...*, с. 268.

³⁰ Указ. работа, с. 262–263.

стическое бытописание. Оно адекватно поверхности житейского и под нее подгоняет свой общественный идеал. И тот усыхает, банализируется. <...> Пользуясь художественными приемами, литература эта тем не менее оставила пределы искусства, ибо превратилась в сознательную ложь. <...> Такая литература обслуживает не столько духовные потребности класса, сколько идеологические и политические нужды его правящей верхушки...³¹.

Сегодня целесообразно говорить еще и о подчеркнуто личном, авторском литературоведческом стиле Д. Затонского, являющемся высоким образцом именно рецептивной поэтики, то есть, откровенно субъективного и, вместе с тем, компетентного теоретического восприятия материала. Последняя книга ученого („Модернизм и постмодернизм: Мысли об извечном коловращении изящных и неизящных искусств”, 2000), которая вполне сознательно писалась им как последняя (о чем автор данной статьи слышал от Д. В. лично), аккумулировала в себе практически не только всю его собственную исследовательскую тематику, но и яркие достижения европейской гуманитаристики второй половины XX века. Этот творческий *Post scriptum* стал знаменательным мировоззренческим итогом сделанного ученым, с чрезвычайно важной, очевидной знаковой „точкой” в конце: „Бог...”. Шаг с литературоведческого подиума был избран умышленно: „Наконец, еще одно – и самое последнее! – уточнение. Вопреки нынешней модности темы я так и не коснулся взаимодействий предмета, который В. И. Вернадский нарек *ноосферой*, с тем, что все именуют *биосферой*. Не только потому, что биосфера решительно не мой предмет, а каждому, дескать, надлежит заниматься своими предметами. Дело еще и в том, что искусство (в чем я неустанно стремился убедить и себя, и своих читателей) *имманентно*. К тому же – при всем моем уважении к Зигмунду Фрейду вынужден это отметить – имманентно не только касательно идеологии, но, надеюсь, в некотором смысле и касательно биологии. Поскольку по преимуществу имеет вроде бы отношение к тому, что принято именовать Богом...”³². В свете этого заключительного высказывания ученого его наследие в целом реально предстает значимым, интертекстуально насыщенным научным метатекстом, влияние которого, вне всякого сомнения, плодотворно будет стимулировать исследовательскую мысль и в дальнейшем.

Справедливым будет особо сказать о том, что в новом веке ученые стран, переживших тоталитарный режим, стали испытывать определенный научный дискомфорт в отношениях с западным

³¹ Д. В. Затонский, *В наше время. Книга о зарубежных литературах XX века*, Москва 1979, с. 46.

³² Д. В. Затонский, *Модернизм и постмодернизм: Мысли об извечном коловращении изящных и неизящных искусств*, Харьков 2000, с. 254.

литературоведением, фактически спеша раствориться в его ведущих идеях, притом довольно некритично, что подтверждают отдельные конференции из тех, что в последнее десятилетие проводились и в Украине, и за рубежом. Однако тенденции современной украинской филологической мысли в целом совпадают с общими потребностями и тематикой европейской литературной теории³³.

В частности, чешская конференция „Проблемы поэтики” в Брно (2006)³⁴ ставила целью выяснить состояние исследований традиционных, модернистских и постмодернистских явлений поэтики на основании сравнительного и жанрологического подходов. Здесь было окончательно осознано, что компаративистскому анализу следует подвергнуть уже не только сам по себе художественный материал, но и состояние отдельных гуманитарных локусов. Закономерным в своей попытке очертить контуры ведущих проблем европейской науки наших дней выглядел вступительный доклад известного слависта Иво Поспешила. Он справедливо почувствовал необходимость структурировать образ самой литературной науки как таковой и дал своеобразную „матрицу” ее современного состояния. В целом ученый подчеркнул печальную тенденцию к падению научного престижа литературоведения. Анализируя ситуацию, он, в частности, обратил внимание на нехватку „большого серьезного дискурса о методологии”. В этом аспекте он справедливо подчеркнул определенную терминологическую пестроту в определении и понимании активно функционирующих сегодня ведущих понятий и категорий. Так, он призвал ученых, изучающих различные аспекты категории „миф”, учитывать многозначность существующих определений этого явления, подчеркнув, что в настоящее время существуют по крайней мере две автономные точки зрения на миф, что скандинавы иначе смотрят на миф, чем, например, Мелетинский. Следует добавить, что наиболее аргументировано интерпретация мифа в научной традиции была освещена в известной „Теории литературы” Р. Уэллека и О. Уоррена (1956 г.). Американские авторы конституировали его в

³³ См., например: Международная конференция „Актуальные проблемы исторической и теоретической поэтики” (Каменец-Подольский, октябрь 2004), „Проблемы поэтики” (Чехия (Брно), октябрь 2006); Донецкая международная конференция „Донецкая филологическая школа: итоги и перспективы” (ноябрь 2006), наконец, ежегодные Международные научные конференции в Черновцах – „Литературная герменевтика и рецептивная теория в современном научном контексте” (ноябрь 2006), „Кризис теории” (октябрь 2007), „Мультикультурные аспекты современного литературоведческого дискурса” (ноябрь 2008), „Мультикультурализм в перспективе литературоведческой антропологии” (октябрь 2009), „Поэтика мистического” (октябрь 2010).

³⁴ Кроме своей славистической школы, этот город известен еще и тем, что именно здесь начинал свою научную деятельность выдающийся филолог XX века. Роман Якобсон.

смысле термина, рассмотрели его историческую динамику, указали на поливалентность содержания, подчеркнули его контрапунктность по отношению к „логосу”, втиснули миф в контур собственной современности. Они же утверждали, например, следующее: „Антоним „мифа”, его контрапункт – логос. „Миф” – это повествование, рассказ в отличие от диалектического рассуждения, изложения, „миф” иррационален, интуитивен – в этом еще одно его отличие от систематизирующей философии. Трагедия Эсхила в контрасте с диалектикой Сократа – вот наглядно „миф” и „логос””³⁵. И дальше эти авторы дают свое объяснение причин его безумной активизации в XX ст., подчеркивая, что миф „довлеет той важной области осмысления, где сотрудничают религия и фольклор, антропология и социология, психоанализ и изящные искусства. Обычно его оппонентами выступают „история”, „наука”, „философия”, „аллегория”, „истина””³⁶, настаивая, что „для многих ученых „миф” – это общий знаменатель между поэзией и религией”³⁷. Впрочем, по убеждению И. Поспешила, можно продолжать и сегодня спорить с тем, есть ли у обозначенной лексемы „миф” серьезные основания числиться именно термином, столь размытыми следует признать его современные параметры. Однако, даже прислушиваясь к предложению чешского профессора по поводу ревизии фронтальных основ современной теоретической мысли, предложенных и обозначенных Р. Уэллеком и О. Уорреном, все же следует согласиться, что сказанное ими о „мифе” и многое другое все еще не теряет актуальности.

Следует напомнить, что в свое время полемически комментировал труд названных авторов выдающийся российский ученый А. Аникст, который отмечал, что, советское литературоведение, достижения которого авторами были проигнорированы, в научном дискурсе также достойно быть хотя бы замечено. Действительно, помимо упомянутого Е. Мелетинского, можно было говорить и о научных достижениях А. Веселовского, М. Бахтина, А. Лосева, Ю. Лотмана, А. Белецкого, В. Проппа, О. Фрейденберг, и о внесенном в теорию архетипов С. Аверинцевым, Вяч. Ивановым, Г. Гачевым, В. Топоровым, имевшим несомненный вес.

Надлежит добавить, что современное украинское литературоведение также не стоит в стороне от этой проблемы: в частности, по проблемам мифопоэтики существуют значимые исследования В. Наривской, А. Киченко, И. Зварыча, А. Е. Нямцу, О. Б. Холодова и др. В круг их исследований включаются культурологические феномены со ссылкой на новейшие научные интерпретации мифа антропологического вектора, предложенные К. Леви-Строссом, М. Элиаде,

³⁵ Р. Уэллек, О. Уоррен, *Теория литературы*, Москва 1978, с. 207.

³⁶ Там же.

³⁷ Указ. работа, с. 209.

Р. Бартом и др. Так, в частности, анализируется эстетическое измерение мифологем раннего украинского модернизма в монографии Я. А. Полищука³⁸.

Осознание веса, сказанного о мифе не только Н. Фраем, М. Элиаде и К.-Г. Юнгом, но и считавшимися некогда соотечественниками (идеи интроспективного анализа художественного текста придерживались В. Пропп и О. Фрейденберг) в аспекте сопоставления мифа с такой художественно значимой парадигмой, как архетип, в частности, анализ реминисценций мифологической природы в стилистической структуре реалистического художественного письма, позволили Л. Дербеневой именно на почве славянской науки также сделать существенные выводы³⁹.

Среди новых исследований привлекает внимание и работа Г. Драненко в духе „междисциплинарного подхода” в отношении точек пересечения мифокритики с рецептивной теорией, где, в частности, развернуто комментируется концепция Ж. Дюрана, а также еще раз подтверждается значимый вывод рецептивной поэтики: „Понятно, что ученые никогда не отыщут единственно „правильную” рецепцию конкретного мифа, которая могла бы послужить нормативной моделью, ведь ценность мифа, собственно, в том, что он вызывает диалог не только между писателем и традицией, к которой он обращается (иногда подсознательно), не только между читателем (слушателем, зрителем) и произведением, но также между литературоведом и произведением, в котором он исследует мифологические структуры. Невозможно представить себе объективную критику, а в случае рецепции мифов, это еще более невыносимо...”⁴⁰.

Неожиданно и очень интересно интерпретирует миф в жанровом контексте мистерии и утопии в аспекте проблемы духовной сущности человека Б. Шалагинов. Показательно, что свой „не совсем традиционный” для еще недавних времен подход к классическому объекту (рассматривался „Фауст” Гете) ученый связал с новыми возможностями современной науки, отмеченной общеметодологическим обновлением⁴¹.

Заслуживает также внимания и следующее актуальное предложение И. Поспешила: вместо литературоведения, в упомянутой „Теории литературы” Р. Уэллека и О. Уоррена в свое время непра-

³⁸ Я. О. Полищук, *Міфологічний горизонт українського модернізму*, Івано-Франківськ 1998.

³⁹ Л. В. Дербенёва, *Архетип и миф как архаические составляющие русской реалистической литературы второй половины XIX века*, Ивано-Франковск 2007.

⁴⁰ Г. Драненко, *Міфокритика та рецептивна теорія: продуктивний діалог* [в:] *Питання літературознавства*, науковий збірник, вип. 78, гол. ред. О.В. Червінська, Чернівці 2009, с. 250.

⁴¹ Б. Б. Шалагінов, *„Фауст” Й. В. Гете: Містерія, миф, утопія: До проблеми духовної сутності людини в німецькій літературі на рубежі 18-19 ст.*, Київ 2002.

вомерно маркированного авторами как „внутреннее” и „внешнее”, признать сегодня функционально оправданными градацию иного рода – с точки зрения методологических основ исследовательского дискурса. В подобном аспекте, по мнению брнского ученого, четко можно выделить два исторически сложившихся течения, имеющих продолжение в современном научном поле: первое связано с так называемыми жесткими методами (русский формализм, чешский структурализм, деконструктивизм и т.д.), второй опирается на „мягкие” методы (сюда он отнес герменевтику, теорию интерпретации и рецептивную поэтику).

Однако хочется отметить, что последняя позиция все же имеет довольно условные и расплывчатые контуры. Как таковое определение „мягкие методы” парадоксально не совпадает с латентно агрессивной мотивацией функционирования каждого из указанных методов, а именно с коммуникативной идеей воздействия текста на его потребителя. Литература является чрезвычайно сложным механизмом специфического „метода воздействия”. Функция этого „метода” состоит в том, чтобы добиться определенного продуктивного резонанса между экспансивной волей автора и (в идеале) свободным духовно реципиентом – пусть даже, допустим, автор и считает свой интеллектуальный натиск ориентацией реципиента по направлению к положительному идеалу. Здесь можно отметить даже наличие следующего парадокса: функциональную трансверсию между такими контрастными понятиями, как „архетип” (реализация идеального прекрасного) и „тотем” (реализация идеального ужасного), что, безусловно, авторскую мотивацию делает двойственной. Для герменевтического прочтения текста чрезвычайно важно выявить этот вектор. Именно на указанном уровне определяется начальная ценностная установка относительно каждой творческой личности, создающей или воспринимающей текст. Итак, взаимоотношения автора с реципиентом всегда превращаются в уникальный „рецептивный сюжет”, который, из-за многочисленных мировоззренческих разногласий, чаще всего способен превращаться в так называемую информационную асимметрию⁴².

Сегодня в украинской научной среде чувствуется активное воздействие европейского взгляда на литературу как на меняющийся объект восприятия. М. Наенко так и пишет: „Точность литературоведческих суждений не имеет ничего общего с догматичностью. Литературное произведение – это живой организм, который развивается во времени и пространстве, следовательно, и суждения о нем имеют „временной”, исторический характер. Речь идет о том, что они могут уточняться, обогащаться и углубляться, в зависимости от сдвигов в эстетическом

⁴² Г. Г. Почепцов, *Информационные войны*, Москва 2000, с. 121.

и аналитическом сознании человечества. Если бы было иначе, то сама наука о литературе становилась бы набором канонизированных дефиниций, а не пластическим пульсированием мысли, постоянно открытой для общения с другой мыслью⁴³.

Очевидную роль в этом вопросе играет постепенное дистанцирование во времени между текстом и его вероятными интерпретациями. Оно логически меняет ценностные приоритеты в отношении к этому тексту таких научных методик, как герменевтика и рецепция. Конечно, встреча текста, в частности художественного, с читателем-современником легко осуществляется на рецептивном уровне и, как правило, в целом не требует особых научных разъяснений или толкований – кроме случаев, когда „тайнопись” авторского письма требует этого по своим жанровым условиям. Герменевтическая техника анализа для определенного культурного явления (текста) приобретает свою бесспорную значимость постепенно, что становится очевидным, когда мы обращаемся к архаизированному временем наследию, понимание которого уже требует соответствующих схолий. Этим моментом объясняется также и откровенно рецептивный вектор литературной критики, поскольку наличествует полное совпадение во времени ее и рассматриваемого ею объекта.

Современной западноевропейской научной мысли присуща позиция междисциплинарной конверсии. В связи со сказанным, в нашей науке снова поднимается вопрос значимости исторического фермента в литературоведческой сфере (что всегда было свойственно западноевропейской практике – ею признается субъективизм любого исторического утверждения: вспомним произведения Коллингвуда, Юнга, Гольдштейна, Сорокина, Милюкова и др.). Проблема конверсии исторической науки и других дисциплин гуманитарного профиля уже ни у кого не вызывает удивления. Назревает возвращение к истокам мировоззренческой практики, в определенной степени – к практике восприятия научного объекта в его онтологической целостности.

Ввиду того, что художественный материал принимает непосредственное участие в формировании поведенческих стереотипов, следует считать, что он, помимо прочего, на самом деле ферментируется историческим опытом, на чем всегда воспитывались и будут воспитываться те, кто позже включается в новую историческую практику. Взгляд на историю как на источник формирования новой человеческой поведенческой модели в условиях исторического сдвига, понимание феноменального смысла этого явления сегодня характеризуется очень осторожным отношением. Чем привлекает литература как источник определенного исторического опыта? Тем, что в ней всегда содержится определенная психологическая правда. Иначе

⁴³ М. К. Наєнко, *Історія українського літературознавства...*, с. 7.

лишенные этого компонента произведения читались бы только под давлением, в условиях идеологической диктатуры – как это известно из опыта литературы так называемого социалистического реализма! – когда-то и эта проблема должна стать самостоятельным объектом историософии.

Более того – сегодня сама история признается формой нарративного дискурса (достаточно вспомнить идеи Х. Ортеги-и-Гассета). В этом смысле методологически оправданно учитывать художественные версии действительности и признать их специфическими маркерами каждого определенного фрагмента исторического движения. Однако и история литературы, преимущественно формирующаяся у нас сегодня, не совсем совпадает с историей как таковой, она не стремится опираться на историческую науку, практически не хочет ее знать, упорно отторгаясь от нее, что, несомненно, усложнит проблему восприятия соответствующей научной продукции будущими исследователями. Подчеркивают наличие проблемы только редкие работы – как, например, анализ Р. Мовчан гетерогенности украинского литературного процесса 1920-х годов в аспекте имманентных особенностей национального модернизма, а также уникальной национальной ситуации⁴⁴. Или же исследования И. Е. Руснак о художественной модификации национальной историософии в прозе У. Самчука (автор здесь подчеркивает методологическую связь герменевтики, которая интегрирует различные методологические подходы к постижению неоднозначных смыслов конкретного текста), что дает возможность выявить историософскую составляющую текстов анализируемого писателя⁴⁵.

Связь исторической науки, в частности, с герменевтикой несомненна. В последнее десятилетие в литературоведческой украинистике не случайно мелькают ссылки на методологический опыт герменевтики, на нее опираются значительно активнее, чем когда-либо прежде. Так, М. Гнатюк, определяя место литературоведческих концепций И. Франко в литературоведческом контексте его эпохи, в том числе рассматривает его в герменевтическом аспекте⁴⁶. Г. Сабат, исследовательница сказок И. Франко в аспекте их поэтики, также настаивает на герменевтической методике своего анализа⁴⁷.

⁴⁴ Р. Мовчан, *Український модернізм 1920-х: портрет в історичному інтер'єрі*, Київ 2008.

⁴⁵ І. Е. Руснак, *Художня модифікація національної історіософії в прозі У. Самчука*, автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : 10.01.01 „Українська література”, Київ 2007.

⁴⁶ См.: М. Гнатюк, *Іван Франко в літературно-естетичних концепціях його часу*, Львів 1999; М. Гнатюк, *Літературознавчі концепції в Україні другої половини ХІХ – початку ХХ сторіч*, Львів 2002.

⁴⁷ См.: Г. П. Сабат, *Казки Івана Франка як естетико-поетикальна система*, автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : 10.01.06 „Теорія літера-

Однако в современном наполнении герменевтика давно отошла от своих первоначальных принципов. Она скорее обогащает современную науку инструментарием, чем побуждает придерживаться своих концептуальных основ. Не случайно, в работах, в которых провозглашается методологическое влияние герменевтической методологии, если еще изредка и фигурирует имя В. Дильтея, то основополагающая работа Г. Г. Шпета „Герменевтика и ее проблемы” (1922)⁴⁸ не упоминается вовсе. Только в структуре недавнего исследования П. Иванишина, где рассматриваются национальные экзистенциалы в поэзии Т. Шевченко, Е. Маланюка, Л. Костенко и выявление их „смысловой мелодии” (выражение Г.-Г. Гадамера), можно заметить положительное влияние этого обзора⁴⁹. По своей концептуальной программе упомянутая монография преимущественно ориентирована на онтологическую герменевтику М. Хайдеггера и Г.-Г. Гадамера, отгораживаясь в целом, за исключением В. Дильтея, от классической герменевтики (называются Платон, Аристотель, Аврелий Августин, Фома Аквинский, Ф. Шлейермахер, В. Дильтей, Г. Шпет, В. Симович, С. Смаль-Стоцкий и др.). В Украине эта работа, если я не ошибаюсь, является первой попыткой не только методологического характера, но и „критически-сравнительного контекстуального диалога” с так называемыми метадискурсивными опытами.

В целом, отдельные украинские исследования минувшего десятилетия воспринимали герменевтику преимущественно в аспекте ее интерпретационных возможностей – как методологически гибкую „науку целостной и комплексной интерпретации художественного текста”⁵⁰. Сегодня З. Лановик предлагает признать современным герменевтическим критерием „тип мышления”, аргументированно противопоставляя в таком измерении специфику восприятия текстов художественного и сакрального: в первом случае оно характеризуется ею как имагинативное, во втором – как трансцендентное и апокалипсическое. Однако, опираясь на концепцию М. Бахтина, тернопольская исследовательница обозначает Библию текстом, „в котором реализовано развернутое множество диалогов”, настаивая на „очевидной и неоспоримой множественности библейского полифонизма”⁵¹.

тури”; 10.01.01 „Українська література”, Київ 2009; Г. П. Сабат, *Казки Івана Франка: особливості поетики*. „Коли ще звірі говорили”, Дрогобич 2006.

⁴⁸ Г. Г. Шпет, *Герменевтика и ее проблемы*, [В:] *Контекст-1989*, Москва 1989, с. 231-268.

⁴⁹ П. В. Иванишин, *Національно-екзистенціальна інтерпретація (основні теоретичні і прагматичні аспекти)*, Дрогобич 2005.

⁵⁰ См.: В. І. Фесенко, *Творчість Ж. Бернаноса: поетика події та пророцтва*, Київ 1998; В. І. Фесенко, *Творчість Жоржа Бернаноса: поетика події та пророцтва*, автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : 10.01.04 „Література зарубіжних країн”, Київ 1999.

⁵¹ З. Б. Лановик, *Hermeneutica Sacra*, Тернопіль 2006, с. 51.

Современные позиции украинской литературной науки нового периода четко обнаруживают тенденцию связывать герменевтику с „жесткими” методами позитивистских школ, как сопровождающий фактор методологической практики структурно-семиотической, синергетической, жанрологической теорий – со ссылкой, как правило, на работы Ю. Тынянова, В. Я. Проппа, Р. Якобсона, Я. Мукаржовского, К. Леви-Стросса, Ч. Пирса, Ч. Морриса, А. Ж. Греймаса, Ж. Деридда, Э. Бюиссанса, Р. Ингардена, Г. Лукача, Т. В. Адорно, М. Хайдеггера, Г.-Г. Гадамера, Цв. Тодорова, П. Рикера, Н. Фрая, Ю. Лотмана и т.д.⁵². В круг интерпретационной проблематики вписываются сегодня еще и основные в мировоззренческом плане темы, в частности, шлейермахеровский концепт герменевтического круга (понимание сущности целого через его фрагменты)⁵³.

В наши дни чрезвычайно важной тенденциозной девиацией украинской науки в процессе ее адаптации к мировой практике представляются лишены мотивированной аргументации попытки сблизить герменевтику с рецептивной поэтикой, тогда как западная научная традиция требует четкого осознания собственных исследовательских границ для каждой из них. Так, В. Дубина подчеркивает: „В споре с английскими коллегами Райнхарт Козеллек так обозначил взаимоотношения между привязанностью немцев к социальной истории и английской склонностью к истории дискурса: „История понятий и история дискурса могут рассматриваться как противоположные и несовместимые, но они неизбежно зависят друг от друга”⁵⁴. Примерно так же по справедливости необходимо рассматривать ситуацию с герменевтикой и рецепцией.

И все же существует также положительная плоскость, где с необходимостью совпадают цели обеих ветвей – речь идет, прежде всего, о теории интертекстуальности. Это происходит и осуществляется тогда, когда рецепция пытается, снимая и прочитывая, слой за слоем, пласты определенных персонализированных обозначений (условно знаков), дойти до гетерогенной первопричины текста. В таком случае

⁵² См.: Ю. Б. Кузнецов, *Імпресіонізм в українській прозі кінця ХІХ – поч. ХХ ст.: проблеми естетики і поетики*, Київ 1995; О. Г. Астаф'єв, *Лірика української еміграції: еволюція стильових систем*, Київ 1998; С. А. Кочетова, *Литературно-критическое творчество русских писателей-модернистов: жанрология, композиция, ритм, стиль*, Донецк 2006; Н. П. Малютіна, *Українська драматургія кінця ХІХ – початку ХХ століття: аспекти родо-жанрової динаміки*, Одеса 2006; Г. П. Сабат, *Казки Івана Франка: особливості поетики. „Коли ще звірі говорили”*, Дрогобич 2006; Т. Гаврилів, *Форма і фігура. Ідентичність у художньому просторі*, Львів 2009.

⁵³ М. Комариця, *Українська „католицька критика”: феномен 20–30-х рр. ХХ ст.*, Львів 2007.

⁵⁴ В. Дубина, *Из Билефельда в Кембридж и обратно: пути утверждения. „История понятий” в России [в:] История понятий, история дискурса, история метафор*, сб. статей, под ред. Х. Э. Бёдекера, Москва 2010, с. 308.

рецепция (пусть – частично) приближается к выяснению настоящего герменевтического ресурса текста. Именно так предстает эта актуальная проблема в работе П. Рыхло, посвященной выяснению наиболее весомых творческих источников поэтического наследия Пауля Целана⁵⁵. Поэтика „внимательного прочтения” лирического текста И. Франко как раз в подобном сочетании представлена и в исследовании В. С. Корнийчука⁵⁶.

Во многих работах сочетание этих разнородных факторов (рецептивного, герменевтического и интертекстуального методов) подается, к сожалению, без серьезной аргументации и в целом называется системным подходом⁵⁷. В таком векторе, например, Н. Малютина считает удобным рассматривать также родо-жанровые трансформации⁵⁸. Именно учитывая исторический характер родо-жанровой динамики драмы и ее гетерогенной природы, исследовательница выясняет отношение между „жанровым прототипом” и жанровыми стратегиями текста, выявляя „диссонанс авторской прагматики и жанровых интенций”. Она подчеркивает, что сама поэтика текстов побудила к применению герменевтического опыта, принципов рецептивной поэтики, а также методики интертекстуального анализа в контексте теории маргинализации центра, своим появлением обязанной постструктуралистам М. Фуко, Ж. Деррида, а за ними – С. Павлычко. На подобной методологической сцепке созданы и труды Л. Кавун⁵⁹, А. Киченко⁶⁰, а также Л. Мацевко-Бекерской, которая свой нарратологический дискурс аргументировала рецептивной теорией, поскольку, по убеждению этой исследовательницы, акцентирование внимания на особом значении читательского соучастия в процессе создания и существования художественного хронотопа также дает возможность ввести категорию рассказчика в активный исследовательский инструментарий теории диалогизма М. Бахтина⁶¹.

Оперирование методологическими принципами интертекстуальности, герменевтики, рецептивной эстетики, выделение из этого ряда отдельно рецептивной поэтики и нарратологии в кон-

⁵⁵ П. В. Рыхло, *Поэтика діалогу. Творчість Пауля Целана як інтертекст*, Чернівці 2005.

⁵⁶ В. С. Корнійчук, *Ліричний універсум Івана Франка: горизонти поетики*, Львів 2004.

⁵⁷ Н. М. Поплавська, *Полемісти. Риторика. Переконування (Українська полемічно-публіцистична проза кінця XVI – поч. XVII ст.)*, Тернопіль 2007.

⁵⁸ Н. П. Малютіна, *Українська драматургія кінця XIX – початку XX століття: аспекти родо-жанрової динаміки*, Одеса 2006.

⁵⁹ Л. І. Кавун, *„М'ятежні” романтики вітаїзму: проза ВАПЛІТЕ*, Черкаси 2006.

⁶⁰ А. С. Киченко, *Мифопоэтические формы в фольклоре и истории русской литературы XIX века*, Черкассы 2003.

⁶¹ Л. В. Мацевко-Бекерська, *Українська мала проза кінця XIX – початку XX століть у дзеркалі нарратології*, Львів 2008.

тексте идей семиотики культуры и психоанализа подчеркивается как методологическая основа исследований жанрового полицентризма А. И. Гурбанской⁶². Наконец, определение контуров научной предыстории этой тривекторности, точек их пересечения или конфликтности можно найти в работе В. Просаловой⁶³. Однако, по логике когнитивных основ и возможностей всех трех аналитических процедур, наиболее приемлемым представляется пересечение только двух из них – теории интертекста с рецептивной поэтикой. Косвенно это подтверждает ряд исследований последнего десятилетия. Например, научное исследование А. Домащенко о русской лирической поэзии в аспекте интерпретации и толкования уместно сужает видение интерпретации кругом разделенных „истины и метода”⁶⁴. К подобной методологической позиции можно отнести и работу Ю. Безхутрого о поэтике художественного мира Николая Хвильового⁶⁵.

Отсюда мы видим, что в современной украинской поэтологической ситуации можно наблюдать постепенное наведение резкости восприятия, улучшение дискурсивной оптики, более четкое осознание веса своей собственной методологической почвы. Как итог, на мой взгляд, опять же стоит подчеркнуть, что взаимодополняемость всех возможных векторов современной литературоведческой практики возможна только при условии их достаточно четкого разграничения.

Ukrainian Literary Theory of the 20th Century in the Context of the Idea of Crisis and Death of Poetics

Summary

The article analyses the methodological principles according to which the Ukrainian literary discourse of the 20th century was formed. The seamlessness of this process is expounded as a natural phenomenon motivated by the historical situation and the contextual connections with the European scientific experience. The selected research aspect is related to the peculiarity of the literary text perception. At the same time, the article explains and highlights the necessity to make a fundamental distinction between hermeneutical methods and receptive poetics viewed as phenomenologically opposite methodologies, as well as the relevance of both components of the modern methodological practice to the development of the theory of intertextuality.

⁶² А. І. Гурбанська, *Жанровий дискурс української повісті 60–80-х років ХХ ст.*, Київ 2008.

⁶³ В. Просалова, *Текст у світі текстів Празької літературної школи*, Донецьк 2005.

⁶⁴ А. В. Домащенко, *Об інтерпретації и толкованні*, Донецьк 2007.

⁶⁵ Ю. М. Безхутрий, *Художній світ Миколи Хвильового*, автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : 10.01.01 „Українська література”, Львів 2003.